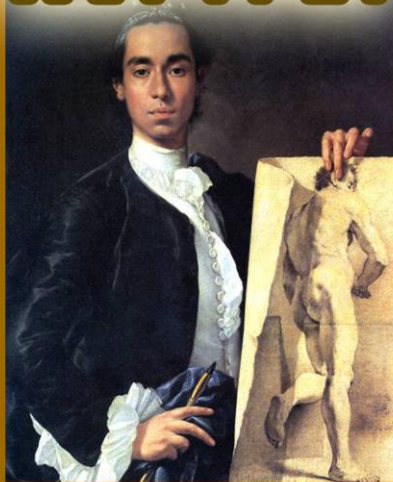


Н. В. Гоголь



ПОРТРЕТ



«Портрет» — загадочная повесть Николая Васильевича Гоголя. Это мистическая история о художнике Чарткове, купившем за последние деньги злосчастный портрет, который одаривает его невиданным богатством. Автор, мастерски владея силой художественного слова, изображает невероятные изменения, которые происходят в жизни главного героя. Мистический образ-символ гоголевского «Портрета», по мнению многих исследователей, схож с образом «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Николай Васильевич Гоголь — автор наиболее известного романа-повести «Мертвые души», а также величайших произведений русской литературы: повестей «Шинель», «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Портрет», «Невский проспект», комедии «Ревизор», пьесы «Женитьба» и сборника повестей «Миргород».

Жизнь и творчество Гоголя наполнены таинственностью и мистицизмом, благодаря чему он был, есть и будет самым загадочным писателем, гениальным сатириком и непревзойденным драматургом.

Николай Васильевич Гоголь

Портрет

ЧАСТЬ I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленым лаком, в темножелтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без

церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей-куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зеваает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненную башмаками. Всякой восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьёзно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва

внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русской народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей*, на *объедал и обпивал*, на *Фому и Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось всё глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна однакож своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобывшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек, во

фризовой шинели, с бородой небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшаптик возьму беленькую. Живопись-то какая! просто глаз прошибет; только-что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку». — Постой, брат, не так скоро — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь» и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малаванья, неполюзовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякой ветхой сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «авось что-нибудь и отыщется.» Он слышал

не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился съизнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку... «Сюда, батюшка; вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены.» Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился во внутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет; но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна.

Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «глядит, глядит», и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

«А что ж, возьмите портрет!» сказал хозяин.

«А сколько?» сказал художник.

«Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!»

«Нет.»

«Ну, да что ж дадите?»

«Двугривенный», сказал художник, готовясь итти.

«Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только-что первый покупатель.» За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет, и в то же время подумал: зачем я его купил? на что он мне? но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились: досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Чорт побери! гадко на свете!» сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще дома, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между-тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-по-малу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «какой легкой тон!» и слова: «досадно, чорт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в пятнадцатую линию на Васильевской Остров. С трудом и с

отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубашке, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою, и проводил всё время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключем в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты.

Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего впрочем они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкой диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожей, потому-что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам

по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и всё немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

«Свечи нет», сказал Никита.

«Как нет?»

«Да ведь и вчера еще не было», сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть, и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

«Да вот еще, хозяин был», сказал Никита.

«Ну, приходил за деньгами? знаю», сказал художник, махнув рукой.

«Да он не один приходил», сказал Никита.

«С кем же?»

«Не знаю с кем... какой-то квартальный.»

«А квартальный зачем?»

«Не знаю зачем; говорит за тем, что за квартиру не плачено.»

«Ну что ж из того выйдет?»

«Я не знаю, что выйдет; он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще притти оба.»

«Пусть их приходят», сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат», говорил ему не раз его профессор: «у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе ни по чем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия невидна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза — смотри, как раз попадешь в английской род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет.»

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою

молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвиды, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосыгаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванию, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе в миг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость,

когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить всё и закутить с горя на-зло всему. И теперь он почти был в таком положении.

«Да! терпи, терпи!» произнес он с досадою. «Есть же наконец и терпению конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? В займы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки: за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята не даром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков из натурального класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.» Произнеши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за

поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: всё лицо почти ожило и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: глядит, глядит человеческими глазами! Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонарда да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и всё еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был однако же почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым

изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь однакоже, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? невольно вопрошал себя художник. Ведь это однако же натура, это живая натура: отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание природе есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, незаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека. Почему же простая, низкая природа является у

одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Всё равно как вид в природе: как он ни великолепен, а всё недостает чего-то, если нет на небе солнца.»

Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий всё в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякой раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображение и нервы его были

чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительно вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле ... он видит, видит ясно: простыни уже нет ... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему во внутрь... У него

захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одне только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевелинуться, сделать какое-нибудь движение — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его, и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было выставлено: 1000 *червонных*. Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и